Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Зеленые горы

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Зеленые горы

Серия «Из далекого прошлого»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=322922

Аннотация

«Милые зеленые горы!.. Когда мне делается грустно, я уношусь мыслью в родные зеленые горы, мне начинает казаться, что и небо там выше и яснее, и люди такие добрые, и сам я делаюсь лучше. Да, я опять хожу по этим горам, поднимаюсь на каменистые кручи, спускаюсь в глубокие лога, подолгу сижу около горных ключиков, дышу чудным горным воздухом, напоенным ароматами горных трав и цветов, и без конца слушаю, что шепчет столетний лес… Мне кажется, что со мной вместе по зеленым горам ходит тень дорогого когда-то человека, память о котором неразрывно связана вот с этими зелеными горами, где он являлся единственным хозяином. Без этого странного человека в горах чего-то недостает, и я иногда на охоте невольно вздрагивал и пугался, когда слышался его голос и осторожные, крадущиеся шаги…»

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента. 15

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович Зеленые горы

I

Милые зеленые горы!.. Когда мне делается грустно, я уношусь мыслью в родные зеленые горы, мне начинает казаться, что и небо там выше и яснее, и люди такие добрые, и сам я делаюсь лучше. Да, я опять хожу по этим горам, поднимаюсь на каменистые кручи, спускаюсь в глубокие лога, подолгу сижу около горных ключиков, дышу чудным горным воздухом, напоенным ароматами горных трав и цветов, и без конца слушаю, что шепчет столетний лес… Мне кажется, что со мной вместе по зеленым горам ходит тень дорогого когда-то человека, память о котором неразрывно связана вот с этими зелеными горами, где он являлся единственным хозяином. Без этого странного человека в горах чего-то недостает, и я иногда на охоте невольно вздрагивал и пугался, когда слышался его голос и осторожные, крадущиеся шаги.

Сквозь чуткий и тонкий сон самых ранних детских воспоминаний я вижу тощую, сгорбленную фигуру, которая на правом клиросе нашей маленькой деревянной заводской

церкви каждое воскресенье читала совершенно непонятным бормотком и пела дребезжавшим, старческим голосом. Это был самый ветхозаветный дьячок, Николай Матвеич. Мочального цвета жиденькие волосы были заплетены в две тонкие косички и запрятаны за высокий воротник праздничного казинетового подрясника; такого же цвета усы и какая-то чахлая, точно заморенная бородка, русский нос картошкой, маленькие серые глаза с крошечным зрачком, тонкая загорелая шея, точно разграфленная глубокими морщинами, круглые очки в медной оправе, берестяная табакерка в кармане, легкое покашливанье и несоразмерно тяжелые шаги благодаря праздничным новым сапогам – все это составляло одно целое. Заскорузлые руки с узловатыми, скрюченными пальцами умело и ловко держали топор и с трудом перелистывали закапанные воском страницы богослужебных книг, что меня постоянно удивляло.

Это был, так сказать, праздничный портрет Николая Матвеича, как и его праздничное бормотанье на клиросе.

– Точно глухарь бормочет на лиственнице, – говорил охотник Емелька, закадычный друг и приятель Николая Матвеича.

Служба в церкви кончалась. Народ расходился. Я садился к окну и ждал, когда последними из церкви выйдут охотник Емелька, дьячок Матвеич и еще кто-нибудь из стариков. Они выходили степенно и, не торопясь, пересекали площадь, минуя базар. Наш кучер Яков тоже ждал этого момента и с

хохлацким юмором говорил:

– Эге, Матвеич втикае до шинка…

Мне было каждый раз обидно за Матвеича, потому что все знали, куда он идет, и подшучивали над стариком. Наверно, и ему совестно идти через площадь, и он делал такой вид, как будто идет куда-нибудь по делу. У нас в заводе был всего один кабак, и это таинственное место мне казалось вместилищем всякой гадости. Дальше я решительно не мог себе представить Матвеича именно в кабаке: сейчас был на клиросе, читал и пел божественное, и сейчас же кабак… Мне делалось жаль старика и хотелось крикнуть: «Николай Матвеич, идите домой чай пить… Никто не будет над вами смеяться». Через некоторое время Матвеич возвращался домой, но уже другой дорогой, задами огородов. Он шел сгорбившись, слегка колеблющейся походкой, делая неверные жесты одной рукой, а другой поддерживая расходившиеся полы своего подрясника. На ходу он что-то бормотал себе под нос и снимал меховую оленью шапку собственной работы, в которой ходил и зиму и лето. За ним разбитой походкой обыкновенно плелся Емелька, тоже размахивавший руками и бормотавший. Оба неразлучных друга производили впечатление только что отравленных людей, что было уже совсем не смешно.

Другое воспоминание о Николае Матвеиче связано неразрывно с нашими годовыми семейными праздниками, когда он являлся гостем, садился куда-нибудь в дальний угол и

молчал. Съедался именинный пирог с рыбой; граненый графин с водкой пустел и наполнялся; в комнате поднимался одушевленный говор, а Николай Матвеич все отсиживался в своем уголке, не вступая в общий разговор. Но стоило кому-нибудь из заводских служащих поднять разговоры об охоте, как вся дьячковская застенчивость исчезала, и Николай Матвеич выступал на сцену, сразу делаясь другим человеком. Он был страстный охотник и прекрасный рассказчик. Конечно, имели свое значение и выпитая водка и именинный пирог.

– Ну-ка, Николай Матвеич, расскажи про своих олешков! – подзадоривал кто-нибудь из гостей.

Олешками Николай Матвеич называл оленей, и охота за ними была его страстью. Рассказывал он разные эпизоды из своей охоты, мастерски изображая все в лицах. Обыкновенно он выходил на средину комнаты и давал настоящее представление. Забитого дьячковской нуждой человека как не бывало, а оставался истинный любитель охоты и артист. Со стороны было смешно смотреть, как он делал прыжки, подбирая полы своего праздничного подрясника, и разными голосами передавал, как кричит олешек-бык или блеет дикая коза. Все хохотали обыкновенно до слез, наслаждаясь даровым представлением, а мне было жаль старика, не замечавшего, что смеются не над его рассказом, а над ним самим, и обидно за него. Так и хотелось сказать ему, как во время его путешествий из церкви в кабак: «Николай Матвеич, не надо:

они смеются над вами. Ведь вы совсем не такой человек».

Впоследствии мне еще много раз приходилось обижаться за Николая Матвеича, когда уже его не было на свете и когда я встречал смехотворное описание русского дьячка где-нибудь у любимого автора. Русская барская литература относилась всегда к дьячку с самым обидным презрением, как к чему-то до последней степени неприличному, жалкому и ненужному, чему не должно быть места на земном шаре. Это литература выводила добродетельных нянюшек, серьезных дворецких, верных старых слуг и добрых мужичков, а дьячок являлся только в роли смехотворного ничтожества. Это был даже не человек, а так, какая-то плесень, прицепившаяся к вые благородного во всех отношениях остального человечества. Дьячок по преимуществу выводился дармоедом, пьяницей и лишенным всякого человеческого достоинства.

Эти мысли о «дьячке» интересовали меня с самого раннего детства, потому что именно здесь чувствовалось поруганное человеческое достоинство. Почему не смеются и не вышучивают самого маленького заводского служителя, который решительно ни в чем не лучше дьячка, за исключением того, что не носит смешных косиц и подрясника? Про рабочих на заводе и говорить нечего. Они являлись рядом с Николаем Матвеичем прямо аристократами. Работа на фабрике, в курене, на промыслах и по перевозке разных заводских материалов оплачивалась гораздо лучше, чем дьячковский труд. За разрешением своих сомнений я обращался к наше-

му кучеру Якову, типичному хохлу,[1] который с хохлацким юмором объяснил:

– А нэхай ему, дьячуге… Вин горилку пье.

Яков и сам был не прочь выпить «горилки», но это не ставилось ему в вину, как дьячку Николаю Матвеичу, да и сам он не стеснялся своей слабости.

Мой отец, человек самой строгой жизни, не бравший капли вина в рот, относился к Николаю Матвеичу с известным уважением, и я раз слышал, как он сказал:

– Николай Матвеич – настоящий философ…

Когда я просил отца объяснить это слово, он уклончиво заметил:

– Ты еще мал… Когда будешь больше – поймешь.

II

Рост детского мира ограничен своими географическими пределами. Помню, как до шести лет этот мир заключался по преимуществу в стенах нашего деревенского дома, причем зимой мы сидели в комнатах почти безвыходно, а летом играли в садике, а «на улицу», которая у нас заменялась большою заводскою площадью, нас отпускали погулять только под строгим надзором няни, что уже составляло для нас личное оскорбление. Уличная детвора, проводившая все время

[1] На Демидовских уральских заводах много хохлов, переведенных из Малороссии. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

под открытым небом, сопровождала нас самыми обидными замечаниями и остроумными кличками. Мы в качестве благовоспитанных детей сами боялись этих уличных сорванцов и сторонились их.

Следующий географический момент наступил тогда, когда нянька была отставлена и в наше распоряжение отданы были двор, сад и огород, что вместе составляло довольно большое пространство, особенно летом, причем каждое время года приносило свои детские удовольствия. С ранней весны у отца начиналась работа в маленькой тепличке; потом шли приготовления парников и приготовление большого огорода. Распускались рябины, черемухи и смородина в нашем садике, где у нас были свои любимцы, как пион, принесенный Николаем Матвеичем с гор. По-уральски пион называется «марьиным корнем». Я особенно любил этот цветок, который мне казался каким-то таинственным гостем, и я не мог себе представить, чтобы в простом лесу росли такие пышные цветы. Николай Матвеич являлся в роли волшебника, похищавшего таинственную красоту этих зеленых гор, которые отлично были видны из окон нашей детской.

– Их там много, Николай Матвеич, таких цветов? – приставал я к волшебнику.

– Довольно…

Потом Николай Матвеич приносил с гор прекрасные пестрые лилии, которые обыкновенно разводятся в оранжереях. Они на Урале называются «саранками». Их луковицы едят.

– В саду саранка не будет расти, – объяснил Николай Матвеич. – Она свою землю любит…

– И других цветов в горах много?

– Много… Всякие цветы в горах растут.

Благодаря Николаю Матвеичу я выучил название всех гор, которые были видны от нас. Ближайшая гора, тянувшаяся невысокой грядкой, называлась Путиной горой, за ней зеленой островерхой шапкой поднималась красавица Шульпиха, вправо от нее виднелось Седло, еще правее – Осиновая и т. д. Из-за этих гор чуть-чуть синела вершина самой высокой горы – Белой.

– Ишь как лоб-то высунула, – как-то особенно любовно говорил Николай Матвеич про последнюю.

Белая гора была слабостью Николая Матвеича, потому что под ней он бил своих олешек, а на Осиновой горе он выстроил себе балаган, где зимой жил по целым неделям. Все эти сведения я запоминал с жадностью, потому что в них открывался неведомый, таинственный горный мир. Оттуда Николай Матвеич приносил всякую дичь: глухарей, тетеревов-косачей, рябчиков; там же по зимам в горных быстрых речонках ловил налимов. Налимы особенно занимали нас. Николай Матвеич приносил их обыкновенно в мешке. Они замерзали, свернувшись кольцом. Интерес заключался в том, что стоило высыпать эти черные крендели, ломавшиеся, как сухарь, на стол в кухне и дать согреться, как они начинали шевелиться и оживали. Это был поразительный эф-

фект. В Сибири любят делать пироги, запекая в тесте мороженую рыбу целиком, что придавало пирогу особенную сочность, и мороженые налимы, согревшись в печи, выползали иногда из пирога.

Вообще Николай Матвеич для меня являлся неиссякаемым источником всевозможных знаний, каких нельзя было добыть ни из одной умной книжки. Но было одно обстоятельство, которое просто отравляло нам жизнь. Он жил рядом с нами. Нас разделял только огород. Выйдешь, бывало, в свой садик и вдруг слышишь протяжный, жалобный вой, который просто хватал за душу. Это выла несчастная собака, которая сидела на привязи в подклети; а выла она оттого, что Николай Матвеич не считал нужным ее кормить как следует.

– Чутье потеряет, если ее кормить до отвала, – коротко объяснял он. – На охоте не будет работать…

Подклеть находилась под комнатой, где жил Николай Матвеич, и как он мог выносить этот голодный вой по целым дням, для меня и до сих пор остается неразрешимой загадкой.

Эта вечно вывшая охотничья собака послужила к тому, что я начал потихоньку от хозяина прикармливать ее. Соберешь разные кухонные остатки – кости, корки и разные объедки, укараулишь, когда Николая Матвеича нет дома, и стрелой мчишься к несчастному голодному псу.

Здесь необходимо сказать несколько слов об уральской промысловой собаке, которая является немаловажным дей-

ствующим лицом в моих детских воспоминаниях. Тип охотничьей промысловой собаки вырабатывался веками, и на Урале славятся так называемые «вогулки». Вогулы – вымирающее племя инородцев, жалкие остатки которого сохранились только в самых глухих дебрях Северного Урала. Они исключительно занимаются звероловным промыслом, и от них перешла к русским промышленникам собака-вогулка. По наружности это – обыкновенная дворняга, с загнутым на спину хвостом, но опытный глаз сразу оценит породистую голову с большими глазами и острой мордой, сильную грудь и породистые, тонкие ноги. «Рубашка», то есть масть, – пестрая, причем черный, белый и желтый цвета перемешаны у каждой по-своему. Благодаря этой масти большинство вогулок носят одну кличку: Лыско. Такие охотники, как Николай Матвеич и Емелька, особенно ценили тех собак, у которых на бровях были желтые круглые пятна.

– Это вторые глаза, как у нас очки, – авторитетно объяснял Николай Матвеич. – Она ими ночью смотрит…

Раз это говорил Николай Матвеич, то я, конечно, не мог не верить. Главные достоинства такой вогулки на охоте неоценимы: она идет на медведя, ищет неутомимо белку, куницу, соболя, лисицу, облаивает осенью глухаря, когда он садится кормиться на закисшую от первого инея лиственницу, выслеживает диких коз и оленей, – одним словом, охотник без нее, как без рук. Вогулка не умеет делать только одного – стойки, как настоящие охотничьи собаки. Вторым недостат-

ком такой промысловой собаки было то, что она гонялась за зайцами и подъедала иногда раненую птицу; но и этот недостаток легко объясняется жестокой системой воспитания голодом. Да, еще одно замечание: вогулки резко отличаются от дворняги необыкновенной чистотой своей шерсти, точно их мыли каждый день.

У Николая Матвеича перебывало много таких Лысок, и все они походили одна на другую, как монеты одного чекана, и все влачили самое жалкое существование.

Раз я попался Николаю Матвеичу на самом месте преступления. Принес Лыску костей и засиделся, любуясь, с каким аппетитом она ест.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.